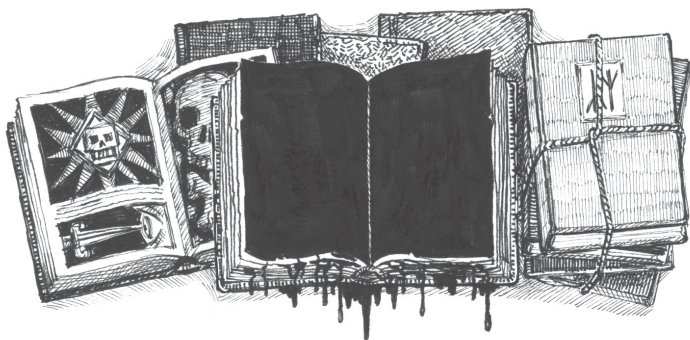




САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА



Оксана Ветловская

ПЕПЕЛЬНАЯ ТЕТРАДЬ

Москва

Издательство АСТ

 АСТРЕЛЬ СПб

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
В39

Серийное оформление: *Юлия Межова*

В оформлении книги и на обложке использованы
иллюстрации автора

Ветловская, Оксана.

В39 Пепельная тетрадь : [сборник] / Оксана Ветловская. — Москва : Издательство АСТ : Астрель-СПб, 2026. — 576 с. — (Самая страшная книга).

ISBN 978-5-17-184685-5

Они ждут — те, кто может исполнить самую заветную мечту.

Ждут, пока человек не возжелает чего-либо так сильно, что будет готов заплатить любую, даже самую высокую цену. Отдать чудовищам самое бесценное, кровное. То, без чего человек сам превращается в чудовище.

Эта книга — о чудовищах, которым нужны люди. И о людях, которые могут стать чудовищами — или одержать победу над ними.

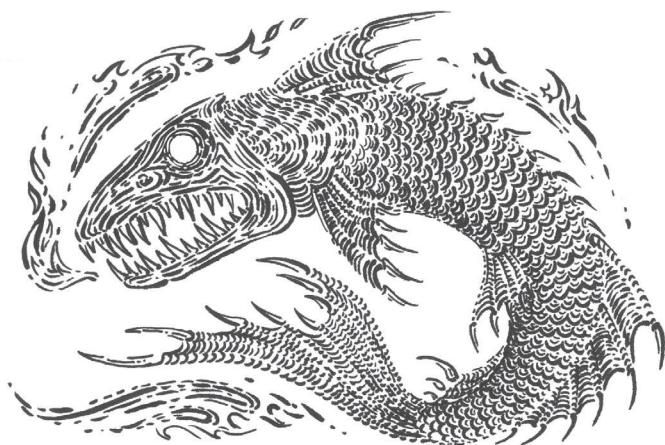
Здесь советский врач спасает жизни, открывая жуткую тайну нацистских преступников. Режиссер, променявший талант на коммерческий успех, случайно заглядывает в темное закулисье послевоенного времени. Переродившиеся книги таят зловещую силу, а мечтающий о славе писатель получает дар от того, кому больше не нужны человеческие души. Маленькая уральская деревня хранит тайну потерпевшего крушение космического корабля. И бок о бок с людьми живут те, кто считает себя венцом творчества — и кому надо убивать, чтобы благоденствовать.

А насколько высокую цену готов заплатить за исполнение мечты ты?

ISBN 978-5-17-184685-5

© Оксана Ветловская, текст, ил., 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026



РАССКАЗЫ

ЗАКОН РАВНОЦЕННОГО ОБМЕНА



Этого ребенка Волгин отдал сам. Собственно-ручно. Самое ужасное — ребенок улыбался. Волгин, по правде говоря, не верил, что такое вообще бывает. То есть он слышал еще в мединституте — от опытных акушеров на перекурах, на практике, — будто только что рожденные дети могут улыбаться, но с молодым задорным скептицизмом относил подобные рассказы по части баек. Вроде того, что тело умершего человека становится чуть легче — ровно настолько, сколько весит отлетевшая душа.

Ребенок, склизкий, синюшный, со странно-ватым нездешним личиком только пришедшего в этот мир создания, проорался, посмотрел на Волгина удивительно ясными глазами и совершенно отчетливо ему улыбнулся. А затем к Волгину шагнула медсестра Розы, которая, сучая, наблюдала за родами, и забрала этого ребенка. И Волгину ничего не оставалось, кроме как отдать его. Все равно ребенка забрали бы — если б понадобилось, то силой, и тогда Волгину ох как не поздоровилось бы. А Волгин хотел жить. Кроме того, он здесь был нужен. Очень нужен.

Роженице Волгин ничего не стал объяснять, она и так все знала, более того, была готова к такому повороту событий и даже, кажется, восприняла произошедшее с облегчением. В конце концов, с детьми тут было куда труднее, чем без детей. Пеленок не было. Воды тоже не было — точнее,

шла ледяная в душевых по утрам, а в другое время каждый поход за водой грозил смертельной опасностью. И от работ по прошествии некоторого времени матерям было не отвертеться: отпуска по уходу за ребенком тут никто не давал. И сейчас-то Волгину придется убеждать начальство, чтобы женщине дали отлежаться хоть пару дней.

Волгин принял послед, тщательно проверил его на целостность, убедился, что у пациентки нет сильного кровотечения, и оставил ее на попечение Лёньки, парня с незаконченным ветеринарным образованием, смекалистого и рукастого, хватающего навыки огромными порциями, как сам Волгин еще недавно хватал, почти сразу после меда оказавшись сначала в полевом госпитале, а потом здесь. Тут-то и насобачился принимать роды: лагерь был смешанным, полно женщин, особенно много почему-то беременных. Будто специально свозили их сюда. А так специальность у Волгина была — терапевт. Это здесь он стал и хирургом, и акушером, и инфекционистом, и психологом, и чуть ли не священником, и бог знает кем еще. И в Бога комсомолец Волгин поверил именно здесь. Ничего ему больше не оставалось. Просто нужен был кто-то еще, кроме него самого. Слишком страшно было оставаться крайним.

Как сейчас. Вот как сейчас.

Подобное случалось каждые несколько дней, а иногда и не по одному разу в день. И каждый раз, после того как все заканчивалось, Волгин принимался «метаться», как это называл старший коллега Станислав Вольфович: быстро вышагивать, почти бегать по кранкенбау, по центру прохода, вдоль длинной печи, которая, впрочем, редко затапливалась. Бегать, нарочито топать, растирать

нервный тик на левом глазу. Только чтобы не слышать бульканья за крайними нарами — и не видеть, как там, в углу, одна из трех приставленных к нему медсестер-немок (Рози, Грета, Хильда) топит в бочке очередного только что рожденного ребенка.

Волгин резко развернулся в конце барака, все-таки мельком увидев, как Рози распахивает дверь и выкидывает на улицу что-то небольшое, на что мигом набрасываются полчища вездесущих крыс. Тело ребенка. Того самого ребенка, который Волгину улыбнулся.

По студенческой привычке дико хотелось курить, но это был холостой позыв, как рвота при пустом желудке — дым, любой, совершенно любой, даже малейший привкус дыма Волгин не переносил с тех самых пор, как нюхнул здешние жаровни, на которых сжигали тела умерших узников — а случилось, еще и не совсем умерших... Это было небольшое отделение Аушвица. Крематориев-печей тут пока не было. Еще не успели построить.

Порой Волгину думалось, что от сумасшествия его спасает только ответственность.

Три близко стоящих, с крытыми переходами, кранкенбау — больничных барака. Хлипкие дощатые постройки, в решето прогрызенные крысами, с земляным полом и двумя рядами трехэтажных коек. Посередине длинная печь с двумя топками по краям, точнее две печи, соединенные длинным горизонтальным дымоходом. Именно на этом кирпичном дымоходе, единственном хоть сколько-нибудь пригодном для подобных дел месте, Волгин осматривал, оперировал, принимал роды. Рядом неотлучно находился Лёнька — помогал, отгонял осатаневших крыс и, конечно, учился. Волгин старался объяснять каждое свое действие. Он

сознательно готовил себе замену — мало ли, на всякий случай. Пулю можно было словить ни за что, просто по прихоти охранника на вышке. Не уберег бы и застиранный белый халат, надетый поверх полосатой робы.

Хотя и без пули запросто можно было окочуриться. Здешний коллега Волгина — более того, старший друг, более того, учитель, Станислав Вольфович Козаржевский, блестящий хирург, способный при почти полном отсутствии инструментов делать невероятные вещи, — полгода тому назад сгорел от скоротечного туберкулеза, как на незримом костре. Туберкулез, пневмония, дизентерия, тиф накидывались на изнуренные голодом тела заключенных будто крысы, которые тут озверели настолько, что кусали лежащих на нарах больных и могли броситься прямо в лицо склонившемуся над койкой врачу. С тех пор как Станислава Вольфовича не стало, Волгин остался крайний. Крайний перед Богом. Дощатый кранкенбау иногда представлялся Волгину утлым кораблем, который он, неопытный капитан, почти вслепую ведет сквозь бурю бушующей кругом смерти.

Почти полное отсутствие лекарств — официально лагерный лазарет снабжали лишь аспирином. Вместо бинтов — тонкие бумажные ленты. Шприцов мало, и кипятить их негде, так что приходилось многожды использовать нестерильные. Солома в матрасах, задубевших от пота и испражнений, давно истерлась в пыль, и больные лежали почитай на голых сучковатых досках. В довершение всего пациенты не были избавлены от селекций: каждую неделю в больничные бараки аккуратно захаживал пахнущий одеколоном и до скрипа выбритый доктор Шпехт, главный лагерный врач,

властвовавший в лабораториях по соседству, и интересовался, кто из обитателей кранкенбау представляется Волгину «очевидно нежизнеспособным». И всякий раз Волгин рьяно доказывал, что таких нет, что жизнеспособны все, что у каждого из его пациентов есть шансы на выздоровление. Но доктор Шпехт неуклонно требовал свою дань в виде людей, отправляемых в лаборатории для инъекции фенола в сердце.

— Мои отчеты, коллега, должны включать определенное число убывших! Кто тут зря поглощает паек, кто тут объедает своих товарищей, кому давно пора освободить место? Думайте, думайте, дорогой коллега, иначе отправитесь на процедуру вместо ваших смертников.

И неизбежно Волгину приходилось выбирать: кто уже точно не поднимется с больничных нар, кто своей смертью спасет чью-то жизнь. Иногда доктор Шпехт отбирал узников для других, не менее страшных дел — для испытания новых лекарств либо какого-то химического оружия или в качестве материала своим практикантам, которые под его снисходительным руководством резали и пришивали что хотели и как хотели, ни в грош не ставя жизнь лагерников. После лабораторных опытов Волгину приходилось собственноручно выцарапывать людей с того света. Зачастую уже безрезультатно. Поэтому при отборе для лабораторий Волгин, напротив, всячески доказывал, что его пациенты слишком слабы для экспериментов. И все равно ему приходилось выбирать. Всегда приходилось выбирать.

Спасать чью-то жизнь ценой чьей-то смерти.

Благодарение богу, Волгин великолепно владел немецким. Именно здесь он не раз добрым словом

помянул настойчивость родителей-германистов, когда-то натаскивавших его на сильные глаголы, как другие натаскивают детей на фортепианные гаммы: шпрехен, шприхът, шпрах, хат гешпрохен, и еще дни, когда дома говорили только по-немецки, свихнуться можно. Отчасти именно в пику родителям Волгин поступил в мед (чтобы тут же провалиться в ад латыни и анатомии) — и вот, надо же, где и как все это пригодилося... Вообще, среди своих по большей части «немых» пациентов (поляки, русские, украинцы, белорусы), знающих по-немецки лишь свой личный номер да основные команды, Волгин был сущим посредником между миром заключенных и миром надзирателей. Восприятие эсэсовцев, фанатично разделявших все вокруг по принципу «свой — чужой», на Волгине неизменно давало сбой. Немецкоговорящий, с безупречным произношением, Волгин и внешне походил на немца, причем на идеального, плакатного немца. Рослый, белокурый и пронзительно-голубоглазый, он вызывал у нацистов некое зоологическое уважение. Этим Волгин пользовался просто отчаянно, на самой грани дозволенного. Напрямую требовал у Шпехта лекарства, инструменты, перевязочный материал — и порой действительно получал. Мало, гораздо меньше нужного, но получал. Более того, приставленные к нему медсестры Розы, Грета и Хильда, эти бездушные колоды, задастые немки, топящие в бочке младенцев, в открытую желали с ним переспать, наплевав на любые свои расовые запреты. От недоедания и хронической усталости в чертах Волгина только заострилась и без того иконописная, аскетичная и строгая красота. Медсестры призывно слабились ему и звали его «наш прекрасный русский доктор». Волгин отчетливо

понимал: затей он интрижку с кем-нибудь из немков, да хоть со всеми тремя разом, снабжение лаварета сразу заметно улучшится, в обход правил из шпехтовской лаборатории хлынут лекарства, бинты, инструментарий — но вот это уже далеко превосходило его силы. Дело было даже не в том, что Волгин и не помнил, когда в последний раз чувствовал себя мужчиной в плотском смысле. Просто сам вид этих трех женщин, как ни в чем не бывало утопивших сотни крохотных, с едва перерезанной пуповиной детей, вызывал у Волгина такую лютую, до хрипа, утробную ненависть, что ему хотелось только одного: сомкнуть пальцы на горле каждой, опустить головой в ту самую бочку и дожидаться конвульсий. С торжеством, с величайшим наслаждением. Именно эта воображаемая картина помогала Волгину хранить самообладание, когда от немков особенно тошнило.

Все, решительно все в лагере было за гранью человеческого. Но именно порядки в отношении детей оказались наиболее невыносимы. Когда Волгина еще только привезли сюда, новорожденных тут топили подряд, без разбору. Потом возникли новые правила: светловолосых и голубоглазых младенцев забирали, чтобы «германизировать» — отдать в бездетные немецкие семьи, а всех прочих, особенно детей евреек и цыганок, по-прежнему топили, как котят, тогда как сам Волгин не смог бы утопить и котенка... С той самой поры рождение блондинистых детей («беленьких», как, помнится, ласково называла таких бабушка) стало праздником. Счастье было, когда светленькие дети рождались у евреек — таких младенцев Волгин буквально втюхивал Розе, Грете или Хильде, обрушивая на их тупые головы всю мощь нацистской



казуистики, в которой наострился, беседуя с доктором Шпехтом. И детей уносили кормилицам.

Немилосердна была судьба по отношению и к тем младенцам, которые не годились для онемечивания, но избегали участи быть утопленными. Иногда такое случалось при ночных родах, когда дежурной медсестре было лень торчать в кранкенбау, и она дрыхла где-то в лабораториях. Спасенных младенцев матери всячески скрывали от надзирателей. Отказывали себе в пайке, чтобы выменять на него простыню, которую можно было бы разорвать на пеленки. С риском для жизни выходили из лазарета за водой (покидать кранкенбау пациентам категорически запрещалось, особенно ночью, когда охранники стреляли во все, что движется; из ночных вылазок узники частенько уже не возвращались). Обычно воду для женщин приносил Лёнька или сам Волгин, но порой не было ни малейшей

возможности отойти от импровизированного операционного стола. Выстиранные пеленки матери сушили на собственном теле. Дети тем временем медленно погибали: редко у кого из истощенных женщин было молоко. Младенцы, все до одного, вопреки ужасающим лагерным условиям, рождавшиеся крепкими и голосистыми, сначала от голода прекращали плакать, только тихо стонали. Затем их кожа становилась тонкой, прозрачной, так что были видны сосуды, сухожилия, даже кости. Потом дети превращались в обтянутые кожей скелетики, потом умирали. И тогда матери, сами истощенные до полного оупения чувств, оставляли их крысам — хоронить было негде, да и не было сил; не на нацистские жаровни же нести. К тому ж матерей весьма скоро после родов переводили в общие бараки и отправляли, как всех, на работы, что только приближало гибель младенцев. Такие матери и дети были еще одним гвоздем в душе Волгина, одним из многих. Таких он до последнего старался удерживать в кранкенбау, где, по крайней мере, не надо было никуда отлучаться, а в полу под нарами были вырыты тайники, куда можно было спрятаться на время селекций.

«Метания» Волгина, так и бегавшего по бараку туда-сюда, прервал Лёнька:

— Гавриил Алексеич! Гавриил Алексеич!

— Чего? — дернулся Волгин, мигом возвращаясь из мрачных мыслей в еще более мрачную действительность. — Кровотечение все-таки сильное?

— Не, у родильницы все нормально. Там вас этот зовет, как его... Вильчик?

— Вильчак! Черт бы его побрал! Я ему сто раз говорил, чтобы даже не приближался к моему ларету!

Глухо радуясь, что сейчас можно будет выплеснуть безысходность вместе с яростью, Волгин пошел к двери, возле которой ждал, не решаясь войти, Яцек Вильчак, один из верховодов лагерного Сопротивления. Уже в самой фигуре Волгина, высокой, сутулой, с угрожающе склоненной головой, было что-то такое, отчего Вильчак сразу попятился.

— Пан Волгин, у меня до вас дельце есть... Небольшое дельце...

— Только не говори, что заболел, — с ненавистью сказал Волгин.

— Боже упаси, пан! — Тут Вильчак аж присел, но все-таки осмелился выпалить шепотом: — Знаем, у вас в бараке солидные тайники есть. Оружие бы нам спрятать. Очень надо. Обыски пошли. Вас ведь сам комендант чуть ли не своим считает, у вас точно искать не будут. Э!..

Волгин схватил поляка за грудки и мерно затряс в такт своим словам:

— Я тебе говорил — не ходить к лазарету? Говорил. Обещал пинка дать, если еще сунешься? Обещал. Я тебе, говнюку безмозглому, твое оружие знаешь куда засуну...

Вильчак отлично говорил по-русски, и потому Волгин не отказал себе в удовольствии подробно растолковать на великом и могучем, куда именно поляк должен засунуть свое оружие и каким именно образом Волгин хотел бы использовать все здешнее Сопротивление.

— У меня пациенты, дурак. У меня роженицы. Я денно и ночью бьюсь, чтобы все эти люди жили, а такие, как ты, играют в героев! Вы, спартаки, играете, а другие гибнут!

Еще Станислав Вольфович заповедовал: не связываться с Сопротивлением. Дело врача — лечить. Ни до чего иного врачу не должно быть дела. Особенно до мероприятий, за которые можно заплатить жизнью — цена этой валюты и так несказанно высока. Вскоре после смерти друга и учителя Волгин забыл об этой заповеди. Позволил устроить штаб Сопротивления в пристройке инфекционного барака. Был раньше такой. Отдельный четвертый барак. Там заправлял Збышевский, отличный инфекционист, у которого Волгин многому успел научиться. Кроме того, к счастью или несчастью, вместе со Збышевским в лагере оказалась его жена, известный польский гинеколог-акушер, автор нескольких монографий. Именно она научила Волгина, как отделять плаценту вручную. Збышевские с радостью приняли членов лагерного Сопротивления, а Волгин коллег не отговорил. Хотя мог бы. Тот барак, инфекционный, эсэсовцы после обысков просто сожгли дотла вместе с лежавшими на нарах больными, господи, как они кричали. А Збышевских расстреляли. Комендант лагеря Клаузен, небольшой и чистенький, с лицом как детская попка, похожий на купидона в униформе, тогда подошел к Волгину и спросил: «Может, и вас поставить к стенке, доктор?» В Волгине от страха и отчаяния просыпалась полная бесшабашность, не раз выручавшая его и при сложных операциях, и в родовспоможении, — спасла она его и тогда: «Да что хотите, герр комендант, могу и к стенке встать, и на плацу без штанов сплясать, только прежде позвольте мне тех идиотов из Сопротивления лично утопить в отхожем месте». Клаузен сочно заржал и оставил Волгина в покое.